

Мундир объективности он снимать решительно отказывается, так как это не внешняя одежда, а суть его природы, часть души, утратить которую равносильно смерти. С эмоциональным подъемом он повторяет Толстому в письме то, что бесчисленное количество раз произносил в воображаемом внутреннем монологе, превосходно описывая подноготную своего литературного труда: «Вы желаете, чтобы я снял мундир и ордена; но этот мундир есть моя собственная кожа и я выскочить из нее не могу. Разве я не правдивый и добросовестный писатель? Когда пишу и не нахожу надлежащего слова или не вижу правильного развития мысли, я просто не могу писать, останавливаюсь (...). Все ведь можно преувеличивать, и свои достоинства, и свои недостатки, и свое самодовольство, и свое раскаяние, и радость и муки. Я боюсь этой фальши. Я слишком раздражителен и впечатлителен, и потому ищу всегда покоя и равновесия. Я пропитан скептицизмом, и потому крепко держусь за ясные, твердые истины. А что я не высказываюсь до конца, то ведь потому, что это гораздо труднее, чем полагают те, кто этого требует. Есть знаменитый пример — Платон; его разговоры не имеют окончательных выводов. Главное дело в том, чтобы рассуждать, мыслить; а поприще мысли мне всегда казалось безбрежным океаном».<sup>149</sup>

Не забыл Страхов и о другой, оборотной стороне своей души, напомнив Толстому, что уже раньше писал об этом, кратким перечнем отрицательных свойств природы («скрытность, гордость, сухость, недоверие, отсутствие живых отношений к людям»), тесно, по диалектическим законам, слитых с положительными, находящимися с первыми в состоянии перманентной войны, в которой нет победителей. Этой сугубо частной, личной военной хроникой он с читателем делиться не собирается: «Я подавляю эти недостатки сколько могу, стараюсь дать им наилучший смысл, обратить в соответствующие им достоинства. Кроме того, всегда я жажду любви, доверия, нежности, но мое самолюбие и гордость меня коробят и отталкивают.

Но зачем же и для кого я стану рассказывать эти обыкновеннейшие истории? Я очень ясно отличаю мое личное, случайное, от того, что имеет общий интерес; когда пишу, то стараюсь возводить свои мысли до общеинтересного, для всех законного и убедительного: тогда я уверен, что меня не обманывает свойство моей души и случай моей жизни».<sup>150</sup>

Рассуждения Страхова интересны, хорошо знакомят с приемами литературного труда критика и философа, в какой-то степени справедливы, но и уязвимы. Субъективное и случайное, общее и личное он пытается разграничить, разделить, создав преграды, возведя прочные стены. Однако такого можно достичь только в теории и в идеале. В действительности, как особенно ярко показывает нарисованный им портрет художника и частного человека Достоевского, он неизбежно стирает грань между объективным и субъективным, общим и случайным, личным, не только не достигая объективных результатов, но превышая всякую меру субъективного, опускаясь до карикатуры, низких сплетен и клеветы, да еще и с маниакальным упрямством настаивая на своей абсолютной правоте, на объективной точности своих суждений.

Любопытна и очередная попытка исповеди, которую Страхов вновь обрывает, не желая рассказывать о слишком конкретном, ограничившись

<sup>149</sup> Там же. С. 911.

<sup>150</sup> Там же. С. 910. В «биографических сведениях» Страхов так формулировал свою оставшуюся неизменной позицию: «Внутренняя моя жизнь, т. е. мои грехи, покаяния, радости и горести, всегда казалась мне трудным предметом (каким тоном ее писать?) и едва ли стоящим того труда, который нужно бы на нее положить» (Никольский Б. И. Биография Н. Н. Страхова. С. 262).